Петр Шмаков

ХЛЕБ

РАССКАЗ

Этого человека я видел один раз, остался он в памяти навсегда.

Небритое, с квадратным подбородком лицо. Морщинистый лоб и мрачный, тяжелый взгляд. В руке — толстая бамбуковая трость.

Я вижу, как он уходит в конец очереди своей нелегкой и грузной походкой. Я не слышу его голоса. Но, наверное, голос низкий и добрый. Только глаза мутились болью.

Это случилось в военную пору, когда мы, пацаны, внутренне считали себя взрослыми и мысленно были там, на войне, куда ушли наши отцы.

Мы группировались по баракам. Ходили войной один барак на другой. Баталии устраивались не на живот, а на смерть. После каждой такой стычки матери по вечерам встречались и спорили, кто из детей виноват. Трепку мы переносили мужественно и даже на другой день этим бахвалились. Но бывало время, когда соседние бараки объединялись и ходили войной на другую улицу. Таким способом мы разрешали принципиальные вопросы...

Больше всего я водился с Петькой Кондрашкиным, Жоркой Климовым, Колькой Рондиком и Ванькой Комолятовым. Мы каждый божий день встречались у насыпи железнодорожного полотна и разрабатывали план набегов на совхозный сад, на пруд, где водились маленькие караси, запретные для лова городским. Неизменным оставалось одно. Мы с вечера занимали очередь за хлебом в белом магазине. Он давно уже был не белым, а каким-то серым, изжелта. А может и потому так его называли, что он был хлебным. Хлеб тогда был мерилом всех ценностей.

Моя мать, как и другие матери, чуть ли не круглые сутки находилась на стройке. Если мы не забывались игрой в бабки, приходили к магазину засветло. Я и сейчас отчетливо помню крохотное окошечко, через которое принимали хлеб, а потом отпускали по карточкам. Окошечко было овеяно такой глубинной тайной, что мы подходили к нему с замирающим сердцем.

Тощая высокая старуха с тонким визгливым голосом торжественно проходила вдоль очереди и, слюня химический карандаш, ставила каждому на руке номер по порядку. На моей ладони синела цифра 263.

Предосенние вечера сильно холодали, и нам приходилось туговато в поношенных рубашонках и штанах с большими «глазами» на коленях и заду. Особенно стыли мы ночами. К нашей партии подсаживались пацаны из других бараков.

Мы прятались от ветра за крохотной засыпухой, в которой ночевал сторож. Объединял нас не только холод, но и разговоры о войне. Заводилой был Жорка. Его отец — летчик. Мы видели его фотографии, которые он присылал с фронта в первые дни войны. Жорка рассказывал удивительные истории. То, как отец посадил на наш аэродром сразу четыре «мессершмитта», то, как он с воздуха уничтожил половину немецкой армии, и, если бы ему хватило снарядов, то не было бы уже войны. И было бы вдосталь хлеба.

— Фашист от него вправо, фашист от него влево, а папаня ни на шаг от него. Патроны кончились, стрелять нечем... Тут он поставь самолет на ребро, да крылом ка-ак полоснет по фашистской спине, так на две половинки фашист и развалился. Вдребезги самолет фашиста... Папане орден дали новый... Вот. Орден уже седьмой. Слушайте вот, письмо прислал папаня...

Милый мой друг, Жорка, и какую же надо было иметь силу воли в твоем возрасте, чтобы перехватить у почтальона похоронную, скрывать ее от матери и придумывать вечерами истории, что происходили с твоим отцом. Позднее ты мне показал эту похоронную. Она хранилась у тебя в жестяной коробке из-под тушенки под забором у дровяного склада. Потому ты и любил сидеть у того сарая часами.

В эту ночь ты, как обычно, рассказывал об отце. Потом мы читали наизусть письма своих отцов. Моросил мелкий дождь. Слабо

стлался низовой, по-осеннему холодный, ветер. Мы жались, экономя тепло, но это мало помогало. Радовались, когда проводилась проверка очереди. Все-таки грелись. Дождь цедил до самого утра...

Хлеб привезли в половине шестого. Из-за угла городской бани показалась хлебная повозка. С ее приближением воздух потеплел, стал сытным и духмяным. Враз забылось обо всем, кроме голода. Я кинулся искать свое место в очереди. Я хорошо помнил цифру 263. Спрашиваю. Будто бы здесь. Наконец-то... Меня просят показать номер. Но, к моему ужасу, на руке ничего нет. Как-то незаметно, в непогодь, карандашная отметка исчезла. Меня грубо оттолкнули. Мол, хотел так пролезть, ничего не выйдет. Тут люди бдительные.

— Да у меня очередь, тетенька... Моя здесь очередь... Стерлась... 263...

Ищу защиту у других женщин, но мне не верят. Уж слишком часто пытались ребята пролезть без очереди. К горькой обиде примешиваются горькие мысли: что же я понесу матери на обед? Кроме хлеба, нести нечего. Она будет ждать, как всегда. Усталая, с серыми натруженными от тяжелой работы руками. Будет сидеть и посматривать, не появлюсь ли я. О трепке совершенно не думалось. Еще несколько раз пытаюсь восстановить свои права. Напрасно. Слезы давно обжигают щеки. Не могу удержаться от рыданий. Мои друзья стоят в сторонке. Помочь они не могут. Очередь по-прежнему безмолвствует.

Я чувствую себя маленьким и бессильным перед большой и равнодушной очередью. А из повозки тянет таким жадно-вкусным запахом, что слюни забивают рот, не успеваю их сглатывать.

Не взять хлеба — значит беда...

Ко мне подошел Жорка. Он хмуро посмотрел на женщин и, давясь за меня обидой, тихо сказал:

— У него папаня воюет, а мать на стройке, хлеб ей нести надо... И у меня папаня летчик...

Вот в это время и вышел из очереди тот человек. Лицо темное, с синими крапинами и суровое. Молча он подошел ко мне, взял меня за шиворот и поставил на свое место. Никто рядом не проронил ни слова. Я только и успел заметить в его глазах боль, такую глубокую, что стало страшно. Он молча шагнул в конец очереди. Тонко и длинно звякнули медали на его порыжелой гимнастерке.

В тот день, как всегда, я пришел на стройку к матери с обедом.